
тише
лиг в
ЛИЯ ЧЕН

Лия Чен
Тише, мы в эфире

https://litres.ru/74778112
SelfPub; 2026

Аннотация

Соня ведёт ночную рубрику на студенческом радио. Говорит вполголоса, шутит на каждом шагу и никому не рассказывает, что год назад написала разгромную рецензию на чужую книгу.

Макар пишет романы, считает слоги в чужих фразах только по привычке и не узнаёт людей по голосу. Зато каждую ночь звонит в студенческий эфир к тихой ведущей, которой может рассказать то, чего не скажет днём. А днём у него есть цель: найти автора той самой рецензии и сказать ей в лицо, что он всё ещё жив.

Можно ли быть честной в эфире, если вся твоя жизнь держится на одной маленькой лжи? И что останется от тайны, когда в студии зажигается красная лампа?

Молодёжная романтика, радио, университет, тайная личность, слоуберн, лёгкий юмор и немного щемящего.

Содержание

Глава 1 4
Глава 2 14
Конец ознакомительного фрагмента. 26

Лия Чен
Тише, мы в эфире

Глава 1

Соня

Радиостудия нашего вуза живёт на четвёртом этаже, между кладовкой, где хранят списанные проекторы, и туалетом, в котором уже второй год не работает сушилка, и в полночь это самое романтичное место на свете. Я не шучу. К полуночи корпус пустеет, вахтёрша внизу включает сериал вполголоса, батареи начинают стрекотать как сверчки, а в студии остаётся гореть одна лампа, и всё, что попадает в её круг, становится моим: стол, микрофон в синем поролоне, кружка с отбитой ручкой и я, девятнадцать лет, юрфак, третий курс, свитер с чужого плеча.

Гоша, наш звукорежиссёр, на ночь выставляет автоматику и уходит домой, оставив мне пульт с одной кнопкой, которую нельзя трогать. Её подписали маркером: *«НЕ ТРОГАТЬ, СОНЯ»*. Лично мне. Я понимаю, что это самый точный портрет, который кто-либо с меня писал.

Ночная рубрика называется *«Абзац на ночь»*, и придумала её я, за что до сих пор слегка собой горжусь и слегка стыжусь. Устроено всё просто: я читаю один абзац из книги, которая,

по моему мнению, заслуживает быть прочитанной вслух, а потом минут десять говорю о ней с теми, кто не спит. Не слушатели, а скорее экипаж: одиннадцать человек в чате, из которых двое сокурсники, один бот, который поздравляет всех с чем попало, и ещё Дина, моя соседка по комнате, которая сидит под ником *«Не_Дина»* и делает вид, что мы незнакомы.

Говорю я, кстати, шёпотом. То есть почти. В первую ночь мне было так не по себе от пустого здания и собственного голоса, летящего неизвестно куда, что я придвинулась к микрофону вплотную и заговорила как в библиотеке. И кто-то в чате написал: *«Вот так, пожалуйста, всегда. У нас тут все спят»*. С тех пор я стала Полуночницей, а мой голос в эфире превратился в нечто низкое и медленное, совсем не похожее на то, как я разговариваю днём. Днём я звонкая, быстрая и несносная. Дина говорит, что ночью я человек, а днём пулемёт с красивой причёской.

Сегодня я читаю абзац про героя, который двадцать страниц не может открыть дверь. Не потому, что она заперта, а потому, что за ней может оказаться то, чего он ждал всю жизнь, и тогда придётся что-то делать. Мне эта книга нравится ужасно. Я закрываю последнюю строку, держу паузу ровно столько, сколько учила (*считаю про себя: «ту-ту-ту»*), и говорю в микрофон:

– Вот и всё, друзья. Герой наконец взялся за ручку, а мы с вами пока остановимся на пороге, потому что порог это самое безопасное место в литературе. Из него можно выйти

в любую сторону.

В чате прилетает «а я вот в двери всегда ломлюсь» от ника «сова_сессия», потом «лайк» от бота, потом *«Не_Дина»* пишет: *«Хорошо, Полуночница, шёпот – огонь»*. Мы же не знакомы, да.

Я улыбаюсь в микрофон, и тут на пульте мигает лампочка городской линии. Это городской телефон, номер которого знают, кажется, только мои слушатели и налоговая. Звонят мне не чаще раза в неделю, да и то чаще всего ошибаются. Я поднимаю трубку, включаю линию в эфир и говорю, как всегда, вполголоса:

– «Абзац на ночь», вы в эфире.

В трубке молчат. Там гудит чужая комната: где-то тикают часы, что-то щёлкает, возможно, ручка. Я уже готова сказать *«алло»* и, по привычке, пошутить, как слышу:

– Здравствуйте. Я не знаю, как это делается.

Голос мужской, молодой, чуть севший, будто человек долго молчал или долго не решался. Я откидываюсь на спинку стула.

– Очень просто. Вы говорите, я слушаю. Если что-то пойдёт не так, мы разделим вину поровну.

– Звучит справедливо.

– Я вообще справедливая. Назовёте имя?

– Лучше нет. – Он коротко смеётся, и этот смешок получается таким неловким, что мне вдруг хочется его пожалеть. – У меня тут… в общем, звонок на «ночь» вызывает ощуще-

ние, что можно говорить без имени. Это ничего?

– Это почти правило. Здесь все без имён. Меня тоже не зовут Полуночница, мама бы обиделась.

Он снова смеётся, уже спокойнее, и я чувствую, как у меня внутри что-то мягко щёлкает: так бывает, когда в каталоге вдруг находишь пропавшую карточку, хотя никто не знал, что она пропала. Это глупое чувство, и я прогоняю его, пока оно не успело стать заметным.

– Вы читали про героя и дверь, – говорит голос. – Я слушал. У меня есть рукопись, триста страниц, почти триста. Я дошёл до середины, и она не сдвигается. Год. Вернее, примерно год. Я не то чтобы считаю.

– А вы считаете, – говорю я, и в чате кто-то ставит смайлик.

– Считаю. Каждый вечер, – признаётся он. – Я не знаю, зачем звоню. Мне показалось, вы поймёте. Вы так читали про дверь, что я подумал…

Он замолкает. А я, к своему ужасу, ловлю себя на том, что считаю слоги. «*Я не знаю, зачем звоню*»: семь. «*Мне показалось, вы поймёте*»: восемь. Это у меня с детства, когда я нервничаю, я разбираю чужие фразы на слоги и складываю их в стопки, как монетки, пока не успокоюсь. Сейчас я нервничаю, и непонятно почему: он же просто звонит, и я не его мама.

Первая мысль, которая приходит мне в голову, такая: пошутить. Что-нибудь про середину, которая у всех рукописей

провисает, как бельё на балконе, и про то, что бельё хотя бы можно подтянуть. У меня есть заготовка, она вылетает из горла сама, как кашель. Но я, не знаю почему, её проглатываю.

– Середина всегда страшнее начала и конца, – говорю я медленно, и голос у меня получается ещё тише, чем обычно. – В начале вы всё обещаете, в конце всё выясняете, а посередине надо просто жить с тем, что наобещали. Это плохое время. Там никто не хлопает.

– Да, – тихо говорит он. – Именно так.

– Только я бы не стала думать, что дело в тексте. Это часто не про текст. Это про то, что вы боитесь его закончить, потому что тогда его начнут оценивать.

Тишина. Часы на том конце тикают, и я сначала слышу только их, а потом что-то странное, вроде короткого выдоха.

– Вы говорите как человек, которого оценивали, – произносит он.

И я смеюсь. Конечно, совсем не вовремя: коротко, громко, прямо в микрофон, так что в чате вспыхивает *«О!»*, а мне хочется закрыть рот ладонью и нырнуть под стол. Потому что на самом деле всё наоборот. Это я оценивала. Но я об этом не говорю, а он ничего не понимает и тоже смеётся, осторожно, как человек, который проверяет, выдержит ли лёд.

– Простите, – говорю я. – Профессиональное. Я читаю вслух чужие книги и, видимо, заразилась их нервами.

– Нет, нормально. Вам идёт, – отвечает он и тут же по-

правляется: – Ну, то есть эфиру. Смех. Эфиру идёт смех.

– Передам эфиру.

Мы замолкаем. Я уже вижу на таймере, что пора ставить песню, и понимаю, что не хочу. Это очень странно: за год ночных эфиров мне ни разу не хотелось растянуть звонок. Я чаще мечтала, чтобы он закончился.

– Можно я позвоню ещё? – спрашивает он.

– Линия открыта, – говорю я самым ровным тоном, на какой способна. – Я не обещаю, что смогу помочь. Но обещаю, что не буду шутить про бельё.

– Про какое бельё?

– Не важно. Спокойной ночи.

– Спокойной ночи, Полуночница.

Он кладёт трубку. Я ставлю песню, не помню какую, что-то медленное, и сижу, глядя на кнопку с надписью *«НЕ ТРОГАТЬ, СОНЯ»*. В чате Дина пишет в личку, нарушая все договорённости: *«Ты там живая? Ты три минуты не шутила. Я засекала»*. Я отвечаю: *«Это был профессиональный приём»*. Она отвечает: *«Ага»*.

Домой я иду в половине второго, по пустому двору, где фонари горят через один, и вдруг замечаю, что пересказываю себе этот разговор. Раз, второй, третий, как стишок, который хочется запомнить. *«Вы говорите как человек, которого оценивали»*. Я останавливаюсь у подъезда и очень внятно, вслух, говорю сугробу:

– Нет. Нет-нет-нет, это ничего не значит.

Сугроб, разумеется, молчит. У него в этом смысле всё хорошо.

Утром я просыпаюсь с чувством, что меня разобрали и собрали обратно, но два винтика осталось лишних. Спала я часа три. Дина в комнате уже ходит туда-сюда с зубной щёткой во рту и пересказывает вчерашний эфир:

– Он был такой… Ну, знаешь. Живой. Не как все эти, которые звонят и спрашивают, есть ли у тебя парень.

– У меня есть парень? – вяло уточняю я.

– Нет. И они это быстро выясняют. А этот – про рукопись. Ты слышала, как он дышал? Я прямо услышала, как человек дышит.

– Дина, это радио, там все дышат.

– Не так. – Она наконец вынимает щётку и вздыхает. – Ладно, вставай, у тебя в десять собрание, ты забыла? Павел Игоревич писал в чат. С восклицательным знаком. Один.

Один восклицательный знак от Павла Игоревича это почти как знак *«опасность, обвал»*. Я встаю.

Собрание проходит в студии, и по одному этому видно, что дело серьёзное, потому что обычно Павел Игоревич предпочитает собирать нас в коридоре у окна: *«чтоб не засиживались»*. Сегодня в студии стоят все стулья, которые нашлись, включая сломанный, на котором сидит Гоша, балансируя как цирковой. Нас человек восемь: ведущие утреннего и дневного, новости, пара первокурсниц, которые ещё не решили, нравится ли им радио, и я, у которой под глазами

то, что Дина называет *«вокзальными тенями»*.

Павел Игоревич стоит у окна с кружкой, на которой написано *«Лучший куратор по версии самого куратора»*. Это подарок от предыдущего набора, и мне всегда казалось, что он хранит эту кружку, потому что она единственная, кто с ним согласен. Он человек в годах, с седой бородкой, всегда слегка растерянный, как будто только что вспомнил, что оставил дома что-то важное, но не помнит что.

– Коллеги, – говорит он и замолкает. Это его фирменная пауза. Обычно за ней следует шутка. Сегодня шутки нет, и меня холодит где-то под рёбрами. – Новости будут неприятные, и я решил, что лучше сказать всё сразу, а не по частям. Вчера мне позвонили. Вернее, не позвонили, а вызвали.

– Кто? – спрашивает Гоша со своего цирка.

Павел Игоревич медленно, почти не двигая головой, показывает глазами в сторону двери. В сторону коридора. И все мы, как по команде, понижаем голос, потому что знаем, что находится в конце того коридора. Кабинет Громова. Директор института, человек, чья подпись стоит на всём, что нас кормит, и чьих шагов мы побаиваемся так, как некоторые боятся шагов за спиной.

– В общем, – продолжает куратор шёпотом, – если за этот семестр, то есть за шестнадцать недель, мы не набираем в эфире и онлайн устойчивую аудиторию, три тысячи слушателей в неделю, радио закрывают. Совсем. Помещение отдают под архив.

Тут я делаю то, чего от себя совсем не жду. Я смеюсь. Негромко, коротко, но так, что все на меня оборачиваются.

– Простите, – говорю я. – Просто я представила, как проекторы из соседней кладовки и мы будем делить помещение. Они хотя бы не жалуются.

Никто не смеётся. Гоша трёт переносицу, одна из первокурсниц тихо говорит «ой». Павел Игоревич смотрит на меня с таким выражением, какое бывает у людей, которые слишком давно знают, что я так делаю, и ещё не придумали, как с этим жить.

– Соня, – говорит он, и это слово звучит у него как *«пожалуйста»*. – Это не шутка. Мне дали шестнадцать недель, и условие у меня одно: чтобы радио начало жить. Не продержалось, а начало.

– Но мы же слушаемся, – подаёт голос ведущая дневного эфира. – У нас вон в чате…

– В чате одиннадцать человек, из них четверо это мы, – сухо замечает Гоша. И тут же сдувается под взглядами. – Я просто считаю.

Павел Игоревич кивает, как человек, которому очень хочется возразить, но нечем.

– Поэтому мы меняем формат, – говорит он. – Вечерний слот, с семи до восьми, который у нас сейчас занят всем подряд, отдаём под новое шоу. Назовём его *«Пара слов»*. Ведущих будет двое. Ночной эфир остаётся как есть, он, как ни странно, единственное, что у нас хоть кто-то слушает.

– Двое, – повторяю я. – А кто?

– Ты, – говорит Павел Игоревич. – И ещё человек. Я его уже нашёл. Он начинающий автор, филфак, третий курс, интересная речь. – Куратор делает глоток из своей кружки и смотрит на меня виновато. – Вы будете вести вечер вдвоём. Он придёт сегодня в пять.

Во мне поднимается что-то горячее и возмущённое, и я уже открываю рот, чтобы сказать: *«Я не умею делить микрофон, я его вообще-то люблю одна»*. Но тут Павел Игоревич достаёт из кармана листок и, щурясь, читает по бумажке, будто боится ошибиться:

– Левшин. Макар Левшин.

Я перестаю дышать. Не в смысле театрально, а в самом прямом: воздух идёт внутрь, а обратно не выходит. Ма-кар Лев-шин, считаю я. Четыре слога. Ровно четыре, как четыре удара сердца. И вдруг вспоминаю, где я видела эти четыре слога: крупно, жирным шрифтом, в заголовке. В моём собственном заголовке, над текстом, который я писала ночью, злая и очень уверенная в своей правоте.

– Знакомая фамилия? – спрашивает Гоша, глядя на меня.

– Нет, – говорю я слишком быстро. – Нет, что ты. Просто… красивая.

И я, кажется, снова смеюсь.

Глава 2

Соня

Весь день я прожила на автопилоте, как человек, которому сказали, что в пять к нему придёт судебный пристав, и он решил до этого момента вести себя естественно. Естественно получалось плохо. На гражданском праве я записала в конспект *«Левшин»* вместо *«Левшина»*, на уголовном вообще ничего не записала, а в обед Дина поставила передо мной тарелку и спросила, не заболела ли я, потому что я за две минуты не пошутила ни разу.

– Заболела, – сказала я. – Новым напарником.

– Ой, да ладно тебе. Это же тоже контент. Вдруг он красивый?

– Дина, он филолог. Они красивыми не бывают, они бывают интересными, а это диагноз.

Дина хмыкнула и стала поливать борщ сметаной с таким видом, будто решила не мешать мне страдать. Я не стала объяснять ей, что дело совсем не в красоте. Про мой книжный канал в нашей комнате не знает никто, ни Дина, ни мама, ни даже пыльная курица на подоконнике, которую Дина зовёт Валентиной. Канал называется *«Бумажный шум»*, подписчиков у него четыре тысячи, и год назад на нём вышла рецензия на самиздатовский роман, которую до сих пор время от времени цитируют в чужих комментариях. Не вся, к

счастью, а одна фраза. Я знаю её наизусть и поэтому стараюсь не вспоминать, но в такие дни она включается сама, как реклама: *«Текст, в котором автор так бережно прячет героя от читателя, что к финалу читатель перестаёт его искать»*.

Ужасная фраза. Красивая и ужасная. Из тех, которые пишешь в два часа ночи с ощущением, что ты наконец-то нашла слово, а утром оказывается, что нашла нож.

Без пяти пять я стою у двери студии с пакетом печенья и пытаюсь убедить себя в двух вещах. Первое: фамилия Левшин не такая уж редкая, и автором того романа он вполне может не быть, потому что на филфаке авторов полкурса. Второе: даже если он автор, под рецензией я не подписывалась, и найти меня невозможно. Обе мысли звучат разумно, пока я их не проговариваю вслух. Когда проговариваю, из каждой торчит кончик нитки.

Гоша уже на месте. Он сидит на своём сломанном стуле перед пультом и делает вид, что занят, а на самом деле слушает, как стучат мои каблуки по коридору. Это у него профессиональное: он различает людей по шагам так же, как врач по кашлю.

– Ты идёшь как на казнь, – говорит он, не поворачиваясь.

– Я иду как на работу.

– Это одно и то же. Чай будешь? Я поставил чайник.

– Я с печеньем.

– Тем более.

Чайник у нас электрический, ему лет сто, и он кипит с таким звуком, будто внутри него идёт тяжёлое совещание. Я наливаю себе кружку, с отбитой ручкой, сажусь за стол и тут же встаю, потому что сидеть невозможно. Хожу от окна к пульту. Передвигаю подставку микрофона на два сантиметра вправо и сразу возвращаю на два сантиметра влево. Гоша наблюдает за этим с вежливым интересом.

– Соня, – говорит он наконец. – Это просто парень.

– Я знаю.

– Он, наверное, тоже волнуется.

– Он автор. Авторы не волнуются, они страдают. Это другое.

Дверь открывается без стука. Так входят либо хозяева, либо люди, которые не успели придумать, как постучать. Я понимаю, что это второй случай, потому что парень в дверях замирает на пороге, будто натолкнулся на невидимую занавеску, и по очереди осматривает комнату: пульт, поролоновый микрофон, Гошу, меня. Он высокий, очень, ему приходится слегка пригибаться под косяком, хотя косяк тут нормальный. Худой, нескладный, в сером свитере с растянутыми рукавами, из которых торчат запястья, и вот на запястье у него, на правой руке, синей ручкой написано что-то мелкое. Я читаю быстрее, чем успеваю подумать, что неприлично: *«ходит как будто извиняется»*.

Я не знаю, про кого это. Надеюсь, не про меня.

– Привет, – говорит он. – Я, кажется, по адресу. Макар.

Левшин.

– Кажется, по адресу, – соглашается Гоша и протягивает руку. Парень пожимает её левой, и Гоша на секунду зависает, а потом смеётся: – А, ну да. Левша Левшин.

– Фамилия обязывает, – серьёзно говорит Макар. – Это такая семейная работа: делать всё не с той стороны.

И вот тут со мной случается то, ради чего я, наверное, и родилась на свет: у меня вылетают слова.

– В смысле, что ты левый по всем вопросам?

Тишина в студии получается такая густая, что слышно, как внутри чайника догорает совещание. Гоша медленно закрывает глаза. Макар смотрит на меня, и я наконец-то вижу его лицо целиком: длинное, с резкими скулами, с тёмными бровями, одна выше другой, и глаза не злые, а скорее настороженные, как у человека, который привык, что шутки в его адрес бывают с сюрпризом.

– По всем, – говорит он после паузы. – Особенно по налоговым.

Я смеюсь, и это самый нелепый смех в моей жизни, потому что смеюсь я с облегчением, а он, кажется, тоже. Всё остальное тут же становится проще. Он подходит к столу, оглядывается, ищет, куда бы себя деть, и в итоге ставит рюкзак на подоконник, а локтем при этом сдвигает мою кружку, которая стояла справа от пульта. Кружка делает пол-оборота и замирает у самого края.

– Прости, – говорит он, подхватывает её левой рукой и

поворачивает ручкой к себе. – О, а тут ручка отбита с правой стороны. То есть для левши это почти заводская комплектация.

– Это моя кружка.

– Я заметил по характеру. – Он осматривает её с интересом знатока. – Хорошая. Скол честный.

– Ты разговариваешь с моей кружкой?

– Я с ней знакомлюсь. Ты же не против?

Я сама не понимаю, почему вместо *«против»* говорю:

– Чай будешь?

Он кивает. Гоша наливает ему во вторую кружку, пластиковую, под которой на дне прилип чей-то давний пакетик. Мы с Макаром садимся напротив друг друга за узкий стол, и я с запоздалым ужасом понимаю, что вблизи он пахнет мятной жвачкой и типографской краской, как человек, который слишком много носит с собой бумаги. Ребро его левой ладони синее от чернил. Я знаю такую ладонь. Это ладонь человека, который пишет быстро и не поднимает руку.

Мне вдруг приходит в голову странная мысль: вчера ночью в трубке был тоже человек, который писал. Не в тот момент, но вообще: у него голос был такой, как у людей, привыкших записывать. Я прогоняю мысль, потому что она опасная. На филфаке авторов полкурса. Повторяю про себя, как мантру: полкурса, полкурса, два слога плюс два слога.

– Павел Игоревич сказал, ты пишешь, – произношу я как можно нейтральнее.

– Пишу. Вернее, писал. Сейчас в основном… – Он бросает взгляд на запястье, – записываю, что может пригодиться.

– А про что?

– Про людей, которые разговаривают и не слышат друг друга. – Он усмехается краем рта. – Звучит пафосно. Меня за это уже один раз сильно поругали.

Во мне что-то обрывается и падает вниз, как лифт.

– Кто поругал? – спрашиваю я.

– Анонимная рецензентка. Или рецензент. Я так и не понял.

Он говорит это легко, почти с юмором, но юмор у него сделан из тонкой кожи, и под ним слышно, как по-настоящему больно. Я беру кружку, чтобы чем-то занять руки.

– Год назад, – продолжает Макар. – Я выпустил самиздатом книгу. Её прочитали человек триста, из них двести пятьдесят были родственники. А потом вышла рецензия на канале, у которого подписчиков больше, чем у нашего радио. Хорошая рецензия, знаешь, из тех, где каждое слово как будто на месте. И все согласились. Под ней три тысячи лайков.

– Это много, – слышу я собственный голос.

– Это очень много. – Он смотрит в стол. – Я до сих пор думаю, что она была права. Но я хотел бы это услышать лицом к лицу. Чтобы она хотя бы видела, что говорит с живым человеком.

Он поднимает на меня взгляд, и в нём, кроме боли, нет ничего, кроме спокойной, упрямой решимости.

– Поэтому я найду её. Не чтобы мстить. Чтобы поговорить. Я уверен, что она где-то рядом, такие люди всегда где-то рядом.

Чай идёт у меня не туда. Я понимаю это в ту секунду, когда глоток уже ушёл в неправильную трубу, и дальше всё происходит быстро и некрасиво: кашель, слёзы, руки, которые машут перед лицом, как будто я отгоняю пчёл. Гоша встаёт и бьёт меня между лопаток с таким усердием, что у меня лязгают зубы. Макар вскакивает, чуть не опрокинув стул, и тоже тянется помочь, но не знает куда, и в итоге протягивает мне салфетку левой рукой, а правой зачем-то придерживает мою кружку, чтобы она не упала.

– Дыши, – говорит он. – Ты только дыши. Я не имел в виду, что ты… я про рецензентку…

– Я знаю, – хриплю я.

– Я не хотел напугать.

– Ты меня не напугал, – говорю я и сама слышу, как это звучит, и поэтому добавляю: – Скорее удивил. Ты первый человек, который хочет разговаривать с автором рецензии, а не придушить его.

– Одно другому не мешает, – признаёт Макар. – Но сначала разговор.

Гоша садится обратно, глядя на меня с таким лицом, что становится ясно: когда-нибудь он вспомнит эту сцену и спросит. Не сегодня. Но когда-нибудь.

Я допиваю остатки чая с рук Макара и думаю, что самое

страшное в этом разговоре даже не то, что он собирается меня искать. Самое страшное, что он мне нравится. Не как парень, упаси боже, я просто не успела бы. Он нравится мне как человек, с которым хочется говорить дальше. Это как найти в чужом городе кого-то, кто знает твоё любимое кафе, и вдруг понять, что он и есть тот, от кого ты прячешься.

– Ладно, – говорю я и вытираю глаза рукавом. – Давай о деле. У нас есть слот с семи до восьми и шестнадцать недель. Павел Игоревич хочет шоу, которое люди слушают. Не ради нас, а ради того, чтобы нас не закрыли. Что ты предлагаешь?

– Разговор, – отвечает Макар сразу, будто ждал вопроса. – Без шуток ради шуток. Мы берём одну тему на выпуск и говорим всерьёз. Про книги, про людей, про то, что кого-то задело на этой неделе.

– Скучно.

– Не скучно.

– Скучно. Люди включают радио, чтобы им было весело, а не чтобы их воспитывали.

– Я не воспитываю, я разговариваю.

– Ты воспитываешь. У тебя брови воспитательные.

– Одна бровь, – поправляет он и на секунду приподнимает именно её, ту, что выше. – Вторая нейтральная.

Гоша тихо фыркает. Я стискиваю зубы, потому что шутка хорошая, а признавать это неохота.

– Хорошо, – говорю я. – Тогда я предлагаю так. Мы берём тему, но разговариваем как в спектакле. Я подбрасываю шут-

ку, ты отвечаешь серьёзно, или наоборот. Один тянет вверх, другой вниз.

– Мы будем качелями.

– Мы будем шоу.

– И кто из нас вверх?

Я открываю рот и не отвечаю, потому что вдруг понимаю, что не знаю. Мы с ним только что описали собственные роли, и получилось слишком точно.

В этот момент у него звонит телефон. Он достаёт его из кармана, смотрит на экран, морщится и поднимает трубку:

– Алло… Да. Нет, я не потерял. Кто это? – Пауза. – Ах, это ты. Слушай, у тебя голос какой-то странный. Нет, в смысле, чужой. Ты простыл? – Ещё пауза. – Ну так бы сразу и сказал, что это Витя. Я тебя по голосу вообще никак не определил.

Он кладёт трубку и объясняет в пустоту, не то нам, не то себе:

– Я голоса не запоминаю. Мама обижается. Считает, что я не беру трубку, пока не прочитаю, кто звонит. Это правда. Но по тексту я узнаю кого угодно, даже по одному сообщению. Витя написал *«слушай, а ты когда?»* – и всё, сразу ясно, кто это. А по голосу могу не отличить друга от курьера, — он так неловко об этом говорит, словно виноват в этом.

Я киваю очень медленно, и внутри меня, где-то на уровне диафрагмы, происходит то, что я потом буду описывать Дине как *«ощущение, что тебе вернули билет на поезд, на который ты уже опоздала»*. Он не запоминает голоса. Зна-

чит, он не узнает, что вчера разговаривал с Полуночницей, которая сидела за этим самым столом. Мне бы радоваться. Вместо этого мне почему-то обидно, и я не могу понять, на что именно.

– Это удобно, – говорю я. – Меньше обязательств перед людьми.

– Я так не думаю. Просто у меня голова так устроена. Слова остаются, звуки уходят.

«Слова остаются» – невольно прокручиваю в голове, и кажется запоминаю ее.

Мы договариваемся ровно на то, на что можно договориться в первый вечер: никакого шоу, только пилот. Один эфир завтра в семь, пятьдесят минут, тема на выбор Макара, шутки на выбор мои, и пусть чат решает, кто победил. Гоша выкатывает условие: каждый приносит себе чай, потому что в студии чайник общий, а ответственность нет. Макар соглашается так легко, что я подозреваю подвох, но подвоха нет. Он просто хочет попробовать.

– Правило первое, – говорит он, поднимаясь. – Никаких подколов про личное.

– Это правило не для меня. Для меня подколы про личное это рабочий инструмент.

– Тогда правило первое для меня.

– А что твоё правило значит?

– Что ты можешь шутить про моё. Я не обижусь.

Я смотрю на него, и у меня в голове складывается совер-

шенно неуместная мысль: этот человек не обидится на шутку и умрёт от рецензии. Значит, дело не в тоне, а в точности. Значит, я не там искала нож.

Но подумать об этом дальше не успеваю.

Из коридора доносятся шаги. Ровные, тяжёлые, неторопливые, такие шаги бывают только у людей, чьё присутствие не нужно объявлять. Мы с Гошей замираем одновременно, и Гоша машинально понижает голос до шёпота:

– Громов.

– Громов? – одними губами повторяет Макар, и я вижу в его лице чистый, незамутнённый ужас первокурсника.

Мы стоим втроём в маленькой студии, затаив дыхание, и слушаем, как шаги приближаются, скрипят у самой двери, на мгновение замедляются… и идут дальше, к лестнице. Когда они стихают, Гоша выпускает воздух так, будто держал его с прошлой пятницы.

– Это он всегда, – шепчет он Макару. – Кабинет у него в конце коридора, и он ходит мимо нас раз по пять в день. Мы привыкли.

– Не привыкли, – шепчу я. – Притворились.

– Не-а, привыкли, – упрямится Гоша. – Просто молчим.

Макар слушает это с серьёзным лицом, потом вдруг начинает смеяться, неслышно, одними плечами, и мне приходится отвернуться, чтобы не смеяться тоже.

Уходит он через десять минут, снова зацепившись плечом за косяк. На подоконнике остаётся его рюкзак, и я уже от-

крываю рот, чтобы окликнуть, но он возвращается сам, находит рюкзак и, подумав секунду, берёт со стола мою кружку, с отбитой ручкой, и поднимает, будто в тосте.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.